



1.

Со второго этажа дома Герцена в окно было видно, как по Тверскому бульвару стлалась февральская поземка и ветер гнул темные кроны деревьев в институтском скверике. Я сидел в почти пустой аудитории, терзал рассказ, который никак не удавался. Казалось, все было, как в действительности: и герой, такой же лейтенант-артиллерист, каким был я всего три года назад, и героиня — девушка, прошедшая войну, и сама война, прокатившаяся через южный черноморский город, где минувшим летом, в каникулы, я работал корреспондентом московской газеты. А рассказ получался лишенным жизни.

С тоской поглядывал я на сидевших впереди Владимира Тендрякова и Ольгу Кожухову, одетых, как и я, в поношенную военную форму без погон. Они писали увлеченно, иногда задумывались, Тендряков тихо шевелил губами, а Кожухова отсутствующим взглядом смотрела перед собой и тут же вновь начинала писать. Чувствовалось, работа у них идет и на семинаре — мы вместе учились у Константина Георгиевича Паустовского — они, наверно, опять заслужат похвалу. А мой рассказ, конечно же, будет «долбать». Да и за что же его хвалить, если — неудача?

А где же она, удача? Как ее добиться? Упорство, еще раз упорство. Но ведь идет уже седьмая переписка рассказа. А Гоголь, великий Гоголь, переписывал свои вещи по восемь раз! А Флобер — более десяти! А еще кто-то из выдающихся мастеров — и двадцать раз. Но беда в том, что рассказ мой лучше не становился. Все было в нем гладко, ни одной, кажется, словесной соринки, а рассказ «не заводился», как мотор, лишенный горючего.

В аудитории стало темнеть, на бульваре уже зажигались желтые шары фонарей, Тендряков встал, щелкнул выключателем, и на листы бумаги упал тусклый свет двух лампочек без абажуров, висевших под самым потолком. В их неуютном освещении отпало всякое желание снова переписывать рассказ. Но что же делать? С кем посоветоваться?..

А если побеспокоить Паустовского? Чем больше я об этом думал, тем сильнее укреплялся в необходимости — надо посоветоваться с нашим учителем. Мы были убеждены — он знает о прозе все. Он, как доктор, определит, чем болен мой рассказ и как его надо лечить. А если мне такая работа не по плечу, то не лучше ли оставить институт, уехать опять в Сибирь, в областную газету, где после демобилизации я работал несколько месяцев и где все так хорошо складывалось. Я ездил по городам и селам Иркутской области, писал очерки, их печатали...

Я сложил бумаги в папку и тихо вышел. По коридору бродил Расул Гамзатов, слегка жестикулируя, вполголоса бормотал стихи на своем родном языке. Мы жили в одной комнате общежития, и я знал, что, когда у Расула «идут» стихи, он не может, как другие наши поэты, сидеть за столом и сразу их записывать. Ему надо ходить и выпевать стихи, помогая себе жестами. Я посторонился, пропуская Расула, чтобы случайно не отвлек и не сбить его с мысли. Но он сам остановился, посмотрел на меня внимательно, спросил:

— Почему не творишь? Почему литературу не двигаешь?

— Да я, понимаешь, наверно, не в ту сторону ее двигаю. Не идет ничего, не вижу выхода...

— Зачем такие слова говоришь? Бывает. Бывает, дорогой...

— Как? И с тобой тоже бывает?

— А я кто? Пушкин? Я бедный горец из аула Цада. С каждым бывает. Иди пиши, дорогой...

Но я не последовал совету Расула. Я вышел на бульвар, поднял воротник демисезонного пальтишки, которое недавно заменило мне изношенную офицерскую шинель, и направился влево, к переговорному пункту с телефонами. Я набрал номер. Паустовский отозвался.

— Константин Георгиевич, мне надо с вами поговорить...

— Ну что же, приезжайте! — сразу пригласил он. — Вы знаете, где я живу?

Еще бы не знать знаменитый дом в Лаврушинском переулке! Но Паустовский все же подробно объяснил, как найти его квартиру и как проехать. Последнее, впрочем, было напрасно: денег на проезд у меня, кажется, не было, да и зачем ехать, если можно дойти? И я пошел с Тверского в Лаврушинский.

Миновал Красную площадь, стал думать о предстоящей встрече с Паустовским, о том, что он многому научил меня за два с половиной года в институте, где я занимался в его семинаре.

Но как же все это началось? Память вернула меня в сорок шестой год, когда я приехал в Москву с желанием поступить в писательский институт.

2.

Приехал я в конце августа 1946 года. Позади было немало: студенческие годы в Московском библиотечном институте, оборвавшиеся в 41-м, когда я стал солдатом-разведчиком артиллерийского полка, краткосроч-



Ф. В. ГЛАДКОВ среди студентов. 1946 год.

ные офицерские курсы, потом — минометные полки. И самое последнее, совсем недавнее воспоминание: август 1945-го, мы идем через пустыню, падают лошади и люди, нет воды, колдцы заминированы или отравлены, позади остаются могилы однополчан, команда «Минометы к бою!», мы прорываем укрепленные районы врага в предгорьях Хингана, на самом Хингане, вступаем в освобожденные нами города и селенья, где все не так, как у нас, все по-другому. Я уже знал, что буду об этом писать. Но не знал, что главное в тех событиях, вобравших судьбы многих тысяч людей и мою собственную, Манил писательский институт — здесь должно открыться нечто такое, что поможет написать о войне, о фронтовых товарищах, о той неповторимой жизни.

Итак, в конце августа я впервые подошел к знаменитому дому на Тверском бульваре под номером 25. Меня привел сюда мой товарищ по библиотечному институту — Елизар Мальцев. Он сам только что окончил Литературный институт, с успехом дебютировал первым романом «Горячие Ключи», был принят в Союз писателей, отмечен самим Фадеевым. Елизар подвел меня к воротам, сказал:

— Ну, вот тебе и Литинститут. Дальше пробивайся сам, тут я тебе не помощник.

Довольно уверенно я пошел вперед. Но в вестибюле института встретил первое препятствие. И значительное. На листе плотной бумаги было написано плакатным пером:

«Прием заявлений на 1-й курс завершен. Ввиду перегрузки новые работы не принимаются и не рассматриваются». Такое объявление сразу повернуло бы меня вспять, будь это до войны. Но четыре года я был артиллеристом и препятствие воспринял как огневую точку противника, которую следовало подавить. Средства для подавления, казалось, были. В чемодане, оставленном в камере хранения Казанского вокзала, лежали мои рассказы и очерки, напечатанные в дивизионной и армейской, во фронтовой и областной газетах. За один рассказ я был даже отмечен на областном конкурсе. Кроме того, я ведь пришел поступать не на первый курс, а на третий. В крайности на второй. А в объявлении говорилось о первом.

В канцелярии ничего утешительного не сообщили. Наоборот, сведения оказались самые обескураживающие: на 25 мест очного отделения и 20 заочного подано около восьмисот заявлений. Однако желающих поступить, особенно фронтовиков, в отдельных случаях принимает директор. Кроме того — был приказ: бывших студентов, вернувшихся с войны, принимать во все одноступенчатые институты и на тот курс, с которого они ушли. Конечно, это не касалось вузов творческих. Но все же...

У дверей директорского кабинета, в полутемном коридоре, выстроилась очередь, человек десять. Я стал в

Осторожно прошел по ковру, опустился в мягкое кресло перед столом. Гладков хмуро посмотрел на меня, спросил:

— Что скажете?..

— Хотел бы учиться в вашем институте...

— А вы грамотный? — с неожиданным раздражением спросил Гладков.

— В каком смысле?

— Читать умеете? Объявление висит в вестибюле: прием закончен. У меня и так страшный перебор. Куда я вас посажу? Куда, если все буквально трещит?! Берем, отказываем, берем, и все конца нету. Не могу! Приезжайте через год.

— Через год вряд ли удастся. Я приехал издавека...

— Откуда?..

— Демобилизовался из Маньчжурии, служил в Забайкалье...

— Где-где? — заинтересовался Гладков. — В Забайкалье? А вы знаете, я же там учительствовал под Нерчинском. И в газетах сотрудничал, Горный Зерентуй — слышали? О нем писал первый...

— Был я в Горном Зерентуе...

— А еще где?

— Олдонда, Курунзулай...

— Акагуй, Олгахи... — подхватил Гладков. — В Олгачах пересыльная каторжная тюрьма была...

— Ее разрушили, кусок стены только остался.

Лицо Гладкова стало как у доброй бабушки.

— Это хорошо, что вы повидали Забайкалье. Писателю, особенно смолodu, надо знать страну, ее окраины. Но обещать вам все равно ничего не могу. Тем более, если вы пишете стихи. Поэтов у меня больше, чем надо...

— Я не пишу стихи, Федор Васильевич...

— А что же пишете? Небось роман привезли? — спросил иронично.

— У меня только рассказы. И очерки...

— Печатались?

— В военных газетах. Еще в областной.

— Тогда сделаем так. Вечером принесете ваши рассказы мне. Как раз сегодня будем окончательно утверждать список принятых на ученом совете. Рассказы ваши посмотрю сам. И сам решу... А коли не в вашу пользу — не взыщите. Писательство — не забава. Это — судьба. И судьба тяжкая!..

Я вылетел из кабинета Гладкова и домчался на Казанский вокзал. Отбрал три-четыре опубликованных очерка, два рассказа и неуверенно взял еще один. Этот рассказ был невелик, всего семь страниц, написан от руки. Там говорилось о том, как один офицер совершенно случайно выстрелил в своего товарища из пистолета, тяжело ранил его и от раны тот умер в госпитале, а невольный убийца был разжалован из капитанов в рядовые и отправлен в штрафной батальон. Рассказ, в сущности, о трагизме военной случайности, когда сам факт существования оружия — уже угроза человеческой жизни. Давать ли Гладкову этот «Случайный выстрел»? Он был написан в полку под впечатлением реального события.

Теперь, спустя много лет, понимаю: это был мой первый настоящий рассказ, я не мог его не написать, он был вызван накоплением жизненного материала и желанием высказаться. Но тогда — колебался, опасаясь, не забракуют ли его Гладков. Ведь рассказ даже не перепечатан на машинке, а другие — вот они, уже в газетах! И все же я взял этот рассказ и уже на Пушкинской площади, увидев вывеску «Машинистка», зашел в типично московскую квартиру тех лет — в захламленном коридоре, куда выходили двери многих комнат, и в одной, маленькой, увидел плохо причесанную курящую женщину в халате. Кроме нее, в комнате бесшумно сновало семь-восемь кошек.

Рассказ тут же был перепечатан, и я, опаздывая, ринулся на Тверской бульвар. Гладков был на заседании ученого совета. Оттуда вышла высокая, подтянутая молодая женщина,

СУДЬБА!...

светлая, с льдисто-серыми глазами. — Вот, Федор Васильевич сказал, чтобы ему лично в шесть часов...

— Хорошо. Сейчас передам. — Она улыбнулась ободряюще, льдинки в глазах исчезли.

Я вышел на бульвар. Казалось, все сделано правильно.

И вдруг навалились сомнения. Рассказы, которые я передал Гладкову, показались слабыми, а мое поведение — нескромным. Вломился к известному писателю, занял его время. Теперь ему придется читать мои рассказы. Да кто я такой? Начинаящий журналист из областной газеты. Вот и следовало работать в газете. А если уж заявился в столицу, то надо бы закончить факультет журналистики.

К утру решение созрело окончательно. У меня сохранилась зачетная книжка Института истории, философии и литературы — знаменитого ИФЛИ, где я, студент библиотечного института, учился заочно и в экстернате. И там сдал за три курса почти все предметы. В начале войны ИФЛИ закрыли, объединив его факультеты с университетскими. В тот же день я пришел на Моховую, в МГУ. В деканате филологического факультета меня сразу признали.

— Да, вы наш. Демобилизованный офицер? Подпадаете под приказ о зачислении. На какой курс хотите? — Наверно, на третий. Я же с третьего ушел в армию...

— Но за третий у вас почти все сдано. Можем взять и на четвертый.

— За эти годы многое забылось. Да и «хвосты» сдавать...

— Чего вы испугались? Сдадите! Фронтовикам установлены льготы: сдавать можете в течение года. И получать стипендию. Ну?

— Согласен!..

Гора свалилась с плеч: меня примут! Не то что на Тверском — понравится, не понравится. От какой ерунды порой зависит судьба, весь жизненный путь...

Довольный всем, что произошло в университете, я пошел по улице Горького, остановился на углу Тверского бульвара.

«Зачем пропадать моим рассказам и очеркам? — подумал я. — Зайду-ка в Литинститут, заберу».

Дверь аудитории с табличкой «Приемная комиссия» была распахнута, оттуда доносился шум людских, аудитория была заполнена людьми. Все толпилось вокруг стола, загроможденного бумагами и папками, за которым невозмутимо восседала та самая молодая женщина, взявшая мои рассказы для передачи Гладкову. У стены стоял капитан-сапер с тремя орденами и многими медалями. Его лицо выражало то крайнюю растерянность, то гнев. В руках он держал толстенную рукопись. «Дорога на Берлин. Роман», — прочел я на обложке. Мы встретились глазами.

— За что четыре года боролся, браток? Ведь все, выходит, зря: писал зря, приехал зря. Смотри, что мне тут понаписали...

«Отказать за неимением творческих данных. Проза типично графоманская...» — прочел я.

— И ничего не хотят слушать. А ведь я отдельной саперной ротой командовал. Отдельной!

Вокруг стола шумели отвергнутые, требовали пересмотра своих дел. Я протиснулся к столу, сказал:

— У меня, по всей вероятности, тоже нет творческих данных. Поэтому я ни на что не претендую...

— Зачем же вы в таком случае сюда пришли? — иронично спросила женщина, взявшая вчера мои рассказы и меня теперь не узнавшая.

— Пришел забрать свои работы. Она посмотрела с некоторым любопытством:

— Фамилия?..

И стала перебирать стопу рукописей, отыскивая мою.

— Кого же вы все-таки принимаете? — настойчиво спросил капитан. — Сколько здесь народу — и всем отказано. Хотя один есть принятый?

Она смерила капитана холодным взглядом, повторила:

— Кого принимаете? А вон молодой человек стоит возле окна. Его, например, приняли...

Я взглянул туда и увидел юношу с густой рыжеватой шевелюрой, тонкого, но с развитыми, сильными плечами, одетого в форму воспитан-

ника специальной военной школы. Он стоял застенчиво, стесняясь своего успеха. Пока я наблюдал за счастливым, она отыскала мои рассказы и объявила:

— А вы приняты. Понимаете? — И капитану: — Вот еще этот товарищ принят. Что тут пишет Федор Васильевич? Видите: «Такого уровня рассказ можно печатать в литературном журнале. Способности бесспорны. Принять. Ф. Гладков», — прочитала она резолюцию на «Случайном выстреле».

— Так на какой курс вы хотите? — На третий!

— А может быть, лучше на второй? Ведь институт наш единственный в мире, и два года вам не много дадут в творческом плане. Я тоже учусь на втором курсе.

Так я снова стал студентом второго курса.

Забегая вперед скажу, что жизнь иногда подсовывает удивительные встречи. Лет через двадцать в дачном подмосковном поселке, где я тогда жил, мне сказали о каком-то инженере, который живет тут же, что-то пишет и хотел бы показать мне свои сочинения. В первые минуты знакомства инженер с обидой сообщил, что с ним обошлись несправедливо: отказались принять в Литературный институт.

— Когда же? В каком году?

— В сорок шестом. Я только что демобилизовался, ушел капитаном, отдельной саперной ротой командовал. И все пошло наперекосяк. Пришлось кончать инженерно-строительный. Но писать не бросил, посмотрите сами. Начиная с романа...

— «Дорога на Берлин»?

— А вы откуда знаете?

— Из сорок шестого. Ну что же, постараюсь вам помочь...

Едва он ушел, я начал читать его повесть. С первых же строк стало ясно — помочь бывшему саперу никто в целом мире не сможет. И тогда, в сорок шестом, приемная комиссия не допустила никакой ошибки. Творческих данных у него действительно не было.

Что же касается юноши с рыжеватой шевелюрой, то впоследствии он стал известным писателем, автором многих прекрасных книг и моим добрым товарищем. Имя его — Александр Рекемчук.

Большими друзьями мы вскоре стали и с той самой женщиной, которая объявила о моем зачислении в институт. Звали ее Людмила Березова, но в институте она числилась под фамилией мужа, с которым уже несколько лет была в разводе. Была она человеком ярким, щедро одаренным, наделенным не только писательским талантом, но и глубоким и острым умом, отлично училась, блистательны были ее выступления на семинарах, наши учителя возлагали на нее немалые надежды. Но в год окончания института тяжелая болезнь загнала ее в больницу, откуда она уже не вышла. Это была первая невосполнимая утрата, которую понес наш курс, наш выпуск 1950 года.

Константин Михайлович Симонов в том, 1950 году вручил дипломы Литературного института мне и моим товарищам по курсу. Среди них были Расул Гамзатов, Василий Федоров, Ольга Кожухова, Андрей Турков, Маргарита Агашина, Инна Гофф, Владимир Огнев, Максим Калининский, Григорий Куренев, Юрий Грачевский, Анатолий Злобин, Александр Ревич, Игорь Кобзев, Сергей Северцев, Лариса Федорова, Константин Левин и другие поэты, прозаики, критики. Но от того памятного вечера, о котором я пишу, до дня получения дипломов было еще очень далеко.

3.

А тогда я шел в Лаврушинский переулок к руководителю нашего семинара Константину Георгиевичу Паустовскому. Он жил на последнем, девятом этаже. Дверь открыл сам. Был он весел, видимо, только что смеялся, без больших очков, которые носил обычно, поэтому близоруко шуршал. Рукопожатие его, как всегда, было крепким, и, едва я снял в прихожей пальто, он позвал жену, представил меня и сказал:

— Займи, пожалуйста, Владимира Яковлевича, пока я там закончу раз-



К. Г. ПАУСТОВСКИЙ ведет семинар в Литературном институте.

говор. — И мне: — Я скоро, минут десять...

У Паустовского в кабинете был незнакомый мне человек.

В кухне, чисто прибранной, мне показали прекрасно иллюстрированные английские журналы на плотной бумаге, с цветными фотографиями и рисунками романтической Африки. Я с интересом смотрел журналы, когда Паустовский неслышно появился в кухне, позвал:

— Ну, пойдете...

В кабинет я вошел, помню, с благоговением. Константин Георгиевич опустился в кресло, указав мне на стул, стоящий перед ним.

— Давайте ваш рассказ, — сказал он и, взяв карандаш, склонился над моими страницами. Лицо его стало серьезным — ни следа улыбки, — даже мрачным.

А я, смиренно сидя на стуле, начал разглядывать кабинет. Прежде всего стол. Он был громаден. Собственно, это был не совсем стол, а комбинация стола, закрытого сзади и с боков, конторки и множества ящичков и полочек. Однажды я уже видел такое «оружение» у Владимира Германовича Лидина, тоже моего учителя и наставника — нам разрешалось посещать два семинара.

Над столом висели портреты Чехова и Александра Грина, два-три пейзажа, написанных маслом. Паустовский читал хмуро, и от этого я ощущал холодок. Иногда он энергично делал записи на лежащем рядом листе, совершенно не прикасаясь карандашом к рукописи. Рассказ был невелик — десять страниц, — и читал его Константин Георгиевич минут пятнадцать. Потом сказал сразу, резко откинувшись и посмотрев на меня:

— Ну что же, рассказ как рассказ. Думаю, можно и напечатать. Все, в общем, сделано. Все на месте, напрасно вы поддальсь отчаянно. Писатель должен иметь профессиональную выдержку...

На семинарах Паустовский всегда был резок и непримирим ко всякой фальши, особенно не терпел пошлости, учил нас чуть-чуть улавливать штампы и схемы и уметь от них избавиться. Почему же он не то что хвалит, но и совсем не ругает неудавшийся рассказ? Жалеет? Хочет ободрить? Все же я гость в его квартире. Обо всем этом я и спросил его.

— Оценку я вам не зависил, можете поверить. Рассказ, с чисто формальной стороны, сделан. И сделан довольно умело. А это уже немало: к вам приходит литературная квалификация. Но на одной квалификации литературу делать нельзя. Должна быть потребность души. Для этого надо открыть все клапаны души. А вы почему-то их закрыли. Поэтому рассказ не слишком волнует. Вот в предыдущем вашем рассказе... Ну... где офицер на квартире стоит и сходится со своей хозяйкой... Там у вас с формальной стороны были огрехи. Но там был напор, там были ваши чувства. Вы любили. Вы ненавидели. Там было много деталей... — И Паустовский кое-что процитировал.

Я был поражен — как это он помнит? Ведь больше года прошло со

времени, когда я читал на семинаре этот рассказ. Некоторые студенты критиковали его за искажение нашей действительности и нетипичность явления. Но Паустовский сумел тогда защитить рассказ, тонко и умело отбил наскоки моих критиков, упрекнув меня в отдельных просчетах.

— Необходимо открыть клапаны души, — энергично повторил Паустовский. — Впустить в творческий процесс все свои чувства. Тогда у нас все занрает, все будет красочно, многоцветно. Надо пробиться сквозь напластования литературы к самому себе. А вы пока не пробились. Правда, проблемки кое-где есть. Вот, например, когда вы пишете: «...нам приносили в окопы пшеницу нашу со льдом и черные — сломаешь зубы — сухари». Это — ваше, только вашей! Этого я нигде не встречал. Здесь вы начинаетесь как писатель.

Он снова прочел эту фразу:

— Хорошо! Больше давайте самого себя, своей жизни, своей биографии. У вас же есть биография: вы жили в Сибири, служили на границе, были на войне. Выкладывайте все это, открывайте другим свой мир. Мир своей души. И тут надо быть щедрым. Надо ничего не жалеть, когда вы пишете, отдавать все свои богатства — чувства, мысли, наблюдения. А вы даёте очень скупо. Поэтому ваш рассказ, хотя труд в него вложен большой, не отличился от многих других рассказов о войне, которые сейчас во множестве печатаются. Рассказ как рассказ. И вряд ли я, читатель, его запомню. И еще одно: сколько раз он переписан?

— Седьмой раз переписываю...

— А первого варианта у вас с собой нет? Начального...

На счастье, я положил в картонную папку все варианты.

Паустовский снова стал читать. На этот раз — первоначальный вариант, мне казалось — жиденький, многословный, несделанный. И старался его сократить. И сокращал все, без чего, считал, можно обойтись.

— Ну что же, работали вы упорно. Но вам изменило чувство меры. Вместе с ненужными напластованиями вы стали обдирать кожу, даже мускулы рассказа. И местами остался сухой скелет. Так нельзя. Смотрите, в первом варианте у вас неплохо дан пейзаж приморского города. Но длинно, много пейзажа. Это сразу утомляет читателя. Вы это почувствовали, стали сокращать. И докращались до двух фраз. Рассказ вы пересушили. Понимаете? Ушел воздух, исчезла картина города. А надо было что сделать? Пейзаж сам по себе редко держит внимание читателя. Необходимо вводить человека, героя рассказа. И давать пейзаж как бы глазами героя. Вот он приехал в этот город и увидел то-то и то-то. И не проходите мимо возможности дать чувства героя. Если увидел, значит, и почувствовал что-то. А если почув-

Анатолий КРАВЧЕНКО



ЗВЕЗДА ЖИВАЯ

Наследство

В старом дозвонном
спрятанном в шкафу
письма трех мужчин
первые —
погибшего в июле
в черном поле
от фашистской пули,
остальные —
от живых солдат:
от меня и сына моего...
Больше в тайнике том —
ничего.

Баллада долга

Уж не помню —
на версте какой
от Иркутска,
рядом с магистралью,
паровозик маленький такой,
дребезжа изношенною сталью
и дымя высокою трубой,
фыркая последними парами,
волочил нутужно за собой
путьманок,
набитый штабелями.
По скрипучей ветке запасной
шел маршрутом
местного значенья

рядом
с магистралью столбовой
важного державного
движенья —
у экспрессов мощных на виду,
на глазах у суперагрегатов
он тащился и кричал «ту-ту»,
точно с ними был запанибрата.
Но с почтеньем внуков деловых
те смотрели на него, умолкнув,
ну, а паровозик мимо них
двигался себе, считая елки,
вставшие вдоль ветки запасной,
дребезжал
изношенною сталью —
дедушка коммунии стальной,
он, должно,
рекорд последний ставил:

путьман шпал и рельсов
за собой
он тащил
вдоль главной магистрали,
чтоб экспрессы новые
стрелой
дальше по стране большой
бежали.
Каплей в море
может был тот груз
и нужда-то в нем была едва ли,
но хотел он, чтоб родной Союз
да и мы о нем не забывали...

Как писать умели старики
молодые, ладные стихи,
будто только-только начинали!

И слова их были так легки,
что казалось всем: из-под руки
птиц они прекрасных
выпускали.

Но зато как были глубоки
мысли каждые, слова и строки,
точно чудо-клады открывали.

Были их дороги не легки,
а по жизни
так шли старики,
что вослед века
не поспевали!

Земля моя

Легко иль тяжело
по ней ступаю,
а все ж ступаю я по ней,
по ней,
моей родной, единственной
и, знаю,
неповторимой
в сущности своей.
И боль, и кровь, и смех,
и горе — с нею,
и мир, и войны,
и добро, и зло...
Вода, и хлеб, и воздух —
не сумею
ни с чем сравнить их.
Как мне повезло!
Плывет она —
меж звезд звезда живая,
среди надежд,
сомнений и страстей,
плывет Земля,
лишь внешне голубая,
и Млечного седея прядь —
над ней.
ДОНЕЦК



... становал, значит, и подумал. Герой должен думать. Мыслить. Тогда он интересен. И мысли должны быть значительные. Ведь вы сами думаете о смысле жизни, о жизни окружающих, о жизни народа? Ага, думаете! Вот и стремитесь в своих вещах, хоть в малой степени, дать выход большим мыслям. Но делать это надо не любовным ходом, как у вас. Вот, в конце, героиня объясняет, что город, который они отстояли от врага, очень дорог всем жителям. Каким всем? Разве мы видим или знаем всех? Он дорог прежде всего ей, героине. Мы с ней знакомы. Знаем — она здесь воевала. Поэтому в ее чувствах можем поверить. В чувства, а не в такие лозунговые слова, которые она у вас произносит. Тут надо не провозглашать, а изображать. Что-то она увидела. Ну, скажем, вырубленный сад, разрушенный дом. Или, наоборот, вновь отстроенный квартал, возродившую землю, куда после войны снова пришла жизнь. Вы же все это видели? Видели! А сказали мимоходом. Задержитесь на этом. Вложите свои переживания в душу героини. Перевоплотитесь в нее. Покажите ее чувства изнутри. И все у вас заиграет. Все обретет жизнь. В рассказе для этого есть основа. И слова пойдут не приблизительные, а самые точные. И данные, чтобы это сделать, у вас есть. Я верю в ваши писательские возможности.

Он помолчал, повторил:
— Верю. Только вам надо совершить прорыв к самому себе. Что вам мешает? Где вы живете?
— В общежитии...
— Сколько вас там, в комнате?
— Восемь. Писать там невозможно...

— Еще бы! — с пониманием воскликнул он. — А где же пишете?
— В аудиториях. Вечерами. В ручку двери засовываем ножку стула, чтобы другие не мешали.

— Как вы сказали? Ножку стула в ручку двери? Я вижу этот стул, висящий в ручке. Он играет роль щеколды. Запомните эту подробность. Через годы, когда начнете писать об этом времени, наверняка пригодится. И вообще, запоминайте подробности. Через подробность можно показать многое...

Забегая вперед скажу, что через четверть века я вспомнил эту де-

таль и она, как и предвидел Паустовский, пригодилась — стала жить в моем рассказе «Найдется добрая душа».

А в тот вечер я продолжал внимательно слушать, потом сказал Константину Георгиевичу:

— У вас в рассказах всегда много деталей. Помню букетик цветов в вагоне, на столике. И весь вагон сразу видно.

Он оставил без внимания этот комплимент, ответил так:

— Мастер детали — Чехов. Учиться надо у Чехова. Сколько ни перечитываю, всегда открываю новое. Или Бунин. А какой мастер Алексей Толстой! И несмотря на полное признание, его проза все еще недооценена. А это великий мастер! Мастер прозы. Внимательно читайте Алексея Толстого. А у меня в том рассказе, о котором вы вспомнили, на вагонном столике — букетик бессмертников. Не просто цветы, а бессмертники, это важно для настроения, для идеи рассказа. — И неожиданно, без перехода: — Вам надо поехать куда-нибудь, сменить хоть ненадолго условия жизни. И тогда вы откроете в себе что-то новое. Писатель должен видеть мир, должен путешествовать. Куда бы вы хотели поехать?

— Снова на Черное море, — ответил я, вспомнив чувство огромной свободы, когда прошлым летом впервые увидел убегающие к самому краю неба необъятно огромные массы переливистой сине-зеленой воды и на ней кое-где, будто игрушечные, пароходики под белыми клубами дыма. Я долго стоял тогда на берегу, смотрел на полужатоленные в бухте суда — тяжкий след войны, на мальчишек, которые с камней удочками ловили маленьких рыбок, думал о том, как все это описать, и ощущал непреходящую свободу. Я был одинок, молод, меня никто не знал и не ждал ни в этом городе, ни в других, у меня были кое-какие деньги, я мог идти или ехать в любую сторону, а я все стоял над морем, вдыхал его соленую свежесть и сто раз описанные, но такие настоящие — вот они какие! — йодистые запахи водорослей, дегтя, пеньковых канатов, угольной мелкой пыли и теплых пшеничных зерен, рассыпанных близ элеватора, над которыми вспархивали тяжелые сизые голуби...

— Почему туда? — спросил Паустовский. — Вас заинтересовала какая-то тема?

— Пожалуй, темы у меня нет. Просто там все другое, не такое, как у

нас в Сибири. Для меня новое... — Понятно, — сказал Паустовский. — Если тянет, надо ехать.

И, подвинувшись к столу, сложил пополам стандартный лист, разрезал его костяным ножом, стал писать.

— Вот возьмите, — сказал он. — Вместе с заявлением отдайте в дирекцию. Полагаю, примут во внимание.

На листе я прочитал:

«Студент моего семинара... был в прошлом году на практике на Черноморском побережье. Он успешно работал корреспондентом московской газеты и привез рассказ, написанный квалифицированно. Считаю, что для более углубленного изучения материала и осуществления возникших творческих замыслов новая командировка в те же места могла бы очень способствовать творческому росту... Константин Паустовский».

Я поблагодарил, спрятал эту рекомендацию в нагрудный карман кителя, шитого еще в минометном полку.

— А что делать с этим рассказом, Константин Георгиевич? Вы сказали, его можно напечатать...

Паустовский ответил не сразу, посмотрел на меня как-то беззащитно и неожиданно выдвинул нижний левый, очень высокий ящик стола. Доверху там лежали перепечатанные на машинке листы.

— Вот, — сказал Паустовский. — Большая часть того, что я написал. Думаю, не худшая. Не знаю, когда это будет напечатано. Может — после моей смерти. А может быть — никогда...

Я подавленно молчал — ведь сколько написано! И кем? Мастером! А вот лежит почему-то в столе, ждет срока...

Паустовский помолчал еще, видимо, давая мне время подумать, и продолжил:

— А что касается вашего рассказа, решайте сами. — Взгляд его чуть задержался на моем старом кителе, требующем ремонта, и он как-то извинительно добавил: — Но если хотите, могу позвонить в журнал...

Я попросил Константина Георгиевича в журнал не звонить.

— Как хотите, — удовлетворенно сказал он. И продолжал: — Ведь что такое — напечатать? Это обаяние души перед читателем. Дать читателю максимальное, на что художник способен. И еще: писатель — настоящий писатель! — обязан думать о жизни народа, каждым своим словом служить народу. Ведь сказать о себе — я писатель — так же ответственно, как сказать — я революционер...

Эти слова ошеломили меня, навсегда запали в сердце и в память, встав рядом с теми словами, которые услышал я в свой первый день в институте от Федора Васильевича Гладкова: «Писательство не забава. Это — судьба! И судьба тяжелая!».

Время было уходить, хозяин уже встал, его ждала рукопись, лежащая на письменном столе. Но когда я надел пальто, Паустовский снова позвал меня в кабинет.

И там, подойдя к полке, на которой стояли его книги, взял одну. Это было «Избранное». Константин Георгиевич сел к столу, на титульном листе написал своим угловатым и разборчивым почерком несколько слов, подписался и подал книгу мне.

Я прочел с чувством неоплатного долга:

«Моему ученику... с большими надеждами. Константин Паустовский».

Я шел прежним путем из Замоскворечья к нам, на Тверской. Метель усилилась, навстречу летели вихри снега, сквозь их пелену светили желтым светом круглые шары фонарей. Под пальто я чувствовал твердый переплет подаренной книги, думал о прошедшем вечере, о своем учителе и о том, как оправдать и его надежды, и все, что связывалось с тем смыслом, который он вкладывал в столь часто произносимое и все же трудно постижимое слово — писатель. «Ведь сказать о себе — я писатель — так же ответственно, как сказать — я революционер...»

...Прошли годы. Не знаю, смог ли я в полной мере оправдать надежды Учителя. Большинство же из тех, с кем я учился в семинаре Паустовского, стали известными писателями. Это — Юрий Трифонов, Владимир Тендряков, Юрий Бондарев, Николай Евдокимов, Ольга Колкухова, Григорий Бакланов, Борис Водный, Владимир Карпов, Семен Шуртаков, Михаил Коршунов, Лев Кривенко, Макс Бременер.

И сейчас, оглядываясь назад, я считаю щедрым подарком судьбы, что мне пришлось учиться в Литературном институте, общаться с его талантливыми воспитанниками, а с многими из них на всю жизнь сохранить человеческую дружбу.

И, встречаясь теперь, мы неизменно вспоминаем блистательные уроки наших учителей, наши студенческие годы, заполненные приобщением к своей судьбе — к тяжкому и прекрасному писательскому труду.